

А. С. ОРЛОВ

Книга — орудие социальной борьбы

По материалу русского средневековья

В Московско-Нарвском доме культуры в мае месяце 1931 года, под руководством Музея книги, документа, письма АН была развернута выставка на тему «Преследование книги, как метод классовой борьбы». Хотя в экспозицию вошел материал начиная с европейского феодализма, большинство экспонатов иллюстрировало эпоху буржуазного расцвета, с несомненным нарастанием их в направлении к современности. Таким образом, выставка оказалась посвященной собственно явлениям периодов промышленного и финансового капитализма и заканчивалась иллюстрацией отношения капиталистического Запада к революционной прессе последнего десятилетия.

Внимание организаторов выставки было сосредоточено главным образом на преследовании прогрессивной, социалистической преимущественно, литературы со стороны консервативной правительственной власти путем правительственных, официальных воздействий, при помощи специально организованного института — цензуры. Это с одной стороны. С другой, были экспозиционно выявлены моменты продвижения революционной идеологии, начиная с Французской энциклопедии просвещения, и некоторые способы обороны революционной книги от нападений правительственных цензурных органов. Другими словами, цензура была понята весьма ограниченно и односторонне, а преследование книги эксплуататоров, преследование книги правительственной, как момент, так сказать, обратного вооруженного воздействия на вооруженное же нападение, момент нападения на нападение, не было достаточно выявлено.

Одностороннее понимание «цензуры» прошлого сказалось и в печати. В 1916 г. вышла брошюра С. В. Безсонова под заглавием: «Надзор за

книгой. Опыт систематизации материалов о цензуре в допетровскую эпоху. Очерк по истории русского права» (Москва, изд. И. К. Голубева). В этой дилетантской брошюре нет ни «правовых», ни иных методологических предпосылок, нет и научнообразной систематизации материалов, которые даны здесь лишь в механической связи малосодержательными рассуждениями. Автор как бы стоит за непреложность каждого из цензурных действий средневекового правительства, т. е. собственно церковной власти и ее агентов: преследователь прав, преследовавшееся вредно. Итак, брошюра эта была бы пригодна, лишь как хронологический перечень фактов, в которых выразились официальные меры предупреждения, пресечения и кары в отношении книг, считавшихся вредными, порочными или испорченными, от начала письменности, от аморфного состояния надзора за книжностью до создания цензурной организации в типографском деле. Но и в качестве библиографического перечня брошюра требует пересмотра уже цитированного в ней и дополнения.¹ Главный же ее недостаток кроется в самой теме, которая обуславливает преувеличенность значения полицейской цензуры и создает одностороннее представление о воздействии на книгу.

Поскольку книга является выражением классовой идеологии, одной из форм классовой идеологии, она есть и орудие классовой борьбы во всех фазах этой борьбы. И если не ограничивать темы односторонним «преследованием» или «надзором», а развернуть ее, то она примет следующий вид: «книга — орудие социальной борьбы». При такой формулировке получится возможность показать все фазы и методы этой борьбы на всем пути исторического развития книги, без одностороннего акцентирования одного полицейского воздействия и без хронологического ограничения. Книга всегда была орудием взаимной борьбы — между- и внутри-классовой, и настоящая статья имеет целью иллюстрировать это материалом из начальных эпох исторической жизни России, не претендуя однако на показание всех категорий заключающихся в нем явлений.

Прежде, чем приступить к иллюстрации фактами, считаем необходимым уточнить свое употребление некоторых терминов, выяснить свою меру ограничения их содержания применительно к задачам статьи.

¹ Так, например, в брошюре Безсонова совершенно опущено преследование в XVII в. заговоров, в том числе и записанных в книжку. См. статью Елены Николаевны Елеонской «К изучению заговора и колдовства в России, в. I. 1917 г.» (Изд. Комиссии по народной словесности при Этнографическом отделе ОЛЕАЭ).

Термин «книга» имеет много значений. Если обратиться к русскому средневековью, то термин этот значил: вообще изображенное графически (книга — в обычном понимании; книги = письмо, частное, напр. Верхуславы к Симону, дипломатическое, напр. Мамая к Димитрию Донскому; книга = буква, примеры из переводных главным образом памятников, см. Материалы для словаря др.-русского языка И. И. Срезневского¹), литературное произведение, писанное или печатное («книга, глаголемая» и т. д., «Книга Александр», т. е. повесть об Александре Македонском), грамотность, образованность («муж благ, книжен и постник», «учен» или «неучен» «книгам») и виды внешнего оформления (свиток, столбец — и кодекс = книга).

В дальнейшем и мы употребим этот термин в разных значениях, но главным образом — в значении литературно оформленных произведений, изображенных греко-славянской графикой (внешняя форма безразлична, но преимущественно — кодекс), и лишь в точно определенных случаях будем разумеать и литературу, неформленную графически. Мы не преследуем особо четкой раздельности значений термина, ввиду того, что они часто перекрещиваются и сливаются, не вызывая необходимости теоретических разграничений для цели настоящей статьи. Так, например, чтобы показать в области книги социальную борьбу, считаем полезным затронуть и борьбу литературных жанров, стараясь, впрочем, не уклоняться от истории книги в специальные вопросы литературоведения.

Общезвестно, что книга в том организованном виде, какой существует в Европе до сих пор, получена была в России из-за границы. Эта книга была введена путем правительственного соглашения между средиземноморской метрополией и ее колониями на русской территории, в качестве орудия подчинения этих колоний центру, сумевшему стать в положение метрополиси, и в качестве усовершенствованного способа подчинения массы населения русских областей их непосредственным правительствам.

Вводимая для таких целей книга содержала последнее достижение государственной религии рабовладельческого общества; она была книгой усовершенствованной магии, определяющей необходимость рабского смирения и терпеливой невзыскательности, непреложность властительства и

¹ Вопрос о соотношении терминов «буква» и «книги» в юго- и западно-славянской письменности древнего периода до сих пор еще окончательно не выяснен. например, употребление этих терминов в памятниках, посвященных изобретению славянских письмен (Паннонская легенда о Кирилле философе, Проглас Константина Болгарского и др.).

повиновения ему, как мировой закон сверхземного авторитета, мирового владыки и творца. Этой тенденцией были пронизаны все элементы книжной композиции, не исключая и книжного языка, чужого и малопонятного, специально созданного для иноплеменных славян путем переложения греческой или латинской речи религиозных книг тех средиземноморских очагов, которые уже не могли существовать без эксплуатации варваров через их обращение в своих колонистов. Наиболее действенная, загадочная сторона книжной магии от малопонятности и невразумительности речи только выигрывала.

Представим себе некоторые результаты огречивания книжной грамотой русского населения X—XI в. Старых богов привязали к лошадиному хвосту и стащили в реку. У одних это вызвало сожаление, у других, натерпевшихся от прежней жреческой касты, вызвало насмешки, не без опасения мести со стороны сверженных идолов. Но чужая новая магия большинство, вероятно, не радовала, тем более, что на усвоение ее хитрой грамоты требовалось потратить много сил. «Крещение» происходило насильственно, и насильственное же обучение грамоте по незнакомым религиозным книгам вызывало печаль даже у знати, несмотря на то, что магическая грамота предвзначалась укрепить ее привилегии.

Естественно предположить, что в рассматриваемое время со стороны большинства населения был протест против грамоты, против книги. Протест, выражавшийся и в прямом нападении. Фактов такого нападения до нас, кажется, не дошло, но ведь нельзя их отрицать только потому, что они не попали в запись, или запись их не сохранилась. Они необходимо были, так как известно напряжение, с каким продвигалась книга нового, более стесняющего уклада в общество старого уклада, так как известна сила книжной вражды с жизненными явлениями неререформированного быта. Жрецы нового культа всячески продвигали книгу в массы, перед церковной аудиторией ее читали нараспев, ее пели, по ее специальному, культовому тексту обучали грамоте и т. д. Книгу хвалили в проповедях, — конечно, только «святую» книгу, — объясняли, как ее нужно читать, медленно штурдовать и бережно с ней обращаться. Эти проповеди о глубине познания, святости, спасения через писанную книгу нападали на неписанную книгу, на устную литературу, на песни, сказки, басни и кошуны, на привычные поверья старой магии родового общества, на персонажей прежнего Олимпа, на действия его культа. Оглашаемые книгой требования новой культовой

системы обесцвечивали реальную жизнь, подчиняли ее неисходной службе чужим интересам во имя безжизненной, надуманной стихии. И, конечно, книга вызывала протест.

Протест против «святой» книги был не только со стороны масс эксплуатируемых трудников, производителей, но и со стороны господ, приступивших к феодализации родовых обществ. Представители этого класса хищных потребителей сами еще не оторвались от родового быта и его культуры. В большинстве они сами еще не вполне освоились и были внутренне несогласны с новинками заграничной магии, хотя и верили в ее могущество. Вслед за Н. К. Никольским, еще раз стоит вспомнить, как Владимир Святославич упирался против соблазнительной казуистики греческого миссионера, недоуменно спрашивая его, как это «спасение» может прийти через воду (крещение), дерево (крест) и женщину (богородицу). Очевидно, летописец XI—XII в. сам еще не преодолел это недоумение. Известно, как игумен Феодосий, святой из святых, придя незванным гостем к Святославу, князю из князей, с сокрушением увидел его пировавшим среди скоморохов, поющих веселые песни и пляшущих, несмотря на все запреты святых писаний. Наиболее послушный ученик новой веры, подражатель ее книгам, Владимир Мономах сожалел о том, что, не попав на свадьбу своего сына, не слышал свадебных песен. Судя хотя бы по свадебным обрядам «безбожность» феодальной знати доходит до позднего времени, как о том свидетельствуют записи XVI—XVII в.

Воинствующие феодалы первых времен плохо осваивали «святую» книгу, редко употребляли ее своеручно, как орудие воздействия. Такие писатели, как Мономах, грецизированный новой жреческой кастой, были редким явлением. Хотя вторая часть его «поучения», практическая, и опровергает первую, написанную в стиле сентиментального христианства, все же этот бродячий вояка пытался воздействовать книгой. Большинство же представителей военного слоя феодалов предпочитали действовать прямо оружием. Вспомним, например, летописный анекдот о религиозном прении князя Глеба с финским волхвом, словесную проповедь которого князь прекратил топором, заранее спрятым в плаще. Военный феодал уничтожил финскую магию не книгой-магией, а ударом.

Если военный феодал и усваивал книгу, то все же чуждался ее «святого» жанра. Он или усваивал заграничный жанр несвятой книги или создавал его сам, в лучшем случае лишь метафорически играя образами

и старой и новой магии. Хорошим тому примером может служить «Слово о полку Игореве», где старые божества помянуты лишь как стильная прикраса, а новое — как топографическое указание. О христианстве в этом памятнике кон. XII в. нет и помину, наоборот, — он весь состоит из недозволенных элементов, звуча военной песней, полный отрицаемым реализмом, что позволяет видеть в нем выступление против книжной магии последнего образца.

Если не предаваться манере расслабленных эстетических «этюдов», в которых до последнего времени «Слово о полку» как бы перебирается руками читательниц Лермонтовской «Сказки для детей», а взглядеться в него поглубже, то протест против новой идеологии и ее форм со стороны среды, создавшей этот памятник, объявится во всех его сторонах. «Слово о полку» — архаично, стиль его от родового строя, от уклада военных бродяг, еще не вполне осевших на местах новой территории. «Слово» все еще вспоминает золотое время Мономаха и жалеет, что нельзя навек остановить это время. Оно плачет даже над неудачниками той поры, вроде Ростислава. Сравнение «Слова» с другими военными повестями показывает, насколько оно одиноко в стиле. Эти другие повести писаны не «песнотворцами» бродячих родовых отрядов, а грамотеями канцелярий, вполне феодализованными выучениками новой клерикальной школы. Борьба повествовательных стилей, обнаруживаемая данным сопоставлением, показывает социальную борьбу отдельных групп внутри господствующего слоя, выраженную в книге.

Нам не раз приходилось обращать внимание аудитории на разницу подхода разных общественных групп к одному и тому же факту, попадающему в книгу. В походе против половцев случайно утонул молодой брат Мономаха Ростислав. «Песнотворец» «Слова о полку» заставляет содрогаться всю природу от гибели прекрасного юноши и винит в ней реку. Технически осведомленный летописец княжеской канцелярии, описывая поход шаг за шагом, ставит гибель Ростислава в зависимость от трудностей предприятия. Агиограф Печерского монастыря изображает бесчинство военного отряда молодежи, во главе с Ростиславом, над встретившимся монахом, и объясняет гибель всего отряда, как божественное возмездие за смерть «святого» инока, последовавшее по предсказанию последнего (Поликarp о Григории).

Вот, в силу социальной борьбы между светским и духовным слоями феодальной верхушки, борьбы, между и внутри этих слоев, при певме-

пательстве незаинтересованной массы населения, и совершилось исчезновение «Слова о полку Игореве». Здесь и кроется причина, почему «Слово о полку» дошло лишь в одном, провинциальном списке. Клерикальные грамотеи лишь по недосмотру сохраняли его в монастырской библиотеке.

Оцерковление верхушек феодальной власти несомненно прогрессировало, но с перерывами и скачками, и книга, как орудие и способ воздействия, находила в этой среде разное к себе отношение. Так стеснение широких международных связей России, хозяйственная перестройка внутренних областей, усиление колонизирования, организация бюрократии на-ново, придушили книжные навыки киевской эпохи, понизили кривую книжности. И вот мы встречаемся в конце XIV в. с характеристикой Дмитрия Донского, отметившей, что он «не учен бе книгам», в особенности, значит, святым книгам. Может быть, поэтому опять возникли в то время подражания «Слову о полку», восстанавливавшие его военный звон, вместо колокольного. Когда же обозначилась абсолютистская система и Москву возвела в «третий Рим», после борьбы за этот титул и его инсигнии между нею, Новгородом и Тверью, Иван Грозный в усиленной степени предался жанру святой книжной магии, не удерживаясь однако от озорных элементов военного феодализма. Он представлялся святошей, по всем правилам цитировал «писание», но тут же отмечал, что знает, как «по четкам матерно лаются». Он интенсифицировал книжность, заведя печатание, но пренебрег принять его в свои руки, оставив в руках жреческой касты.

Борьба книгой и с книгой сказывалась не только между военными, светскими и церковными феодалами, но и в среде главных грамотеев, внутри самой церковной касты. Иначе, как протестом против инициативного, глубокого освоения их книги, трудно объяснить рассказ Печерского патерика о том, как один монах изучил в библии исключительно книги Ветхого Завета и оттого стал слабоумным (Поликарп о Никите затворнике). Церковники боялись, чтобы самостоятельное, безнадзорное изучение даже «святых» книг не возбудило нежелательных запросов и выводов, чем в значительной степени и объясняется масса «толкований», т. е. обязательных для читателей объяснений текста.

Каста феодальных церковников была не монолитна: черноризцы, монашество, и белые попы — это главные два слоя, во многом враждебные друг другу. Например, монастыри стояли близко к государственному

правлению, владели землей с крестьянами, банкирствовали, торговали, церкви же — только торговали, да и то (кроме Новгорода) в меньшей степени. Церковники больших городов и деревенские — другие два слоя, и книги у них были разные. Так индекс предостерегал общество против заговоров, которыми были полны толстые сборники сельских попов. «Стоглав» отмечает, что на новгородских окраинах попы шептали заклинания над предметами церковного обихода, как «арбуи в Чуди», т. е. финские жрецы, шаманы. Затем надо учитывать прослойки в церковной иерархии, ступени иерархической лестницы, также находящиеся в состоянии борьбы. Эта сложная картина взаимоотношений осложняется еще тем, что в эпоху феодализма имело место резкое областное деление государства, как следствие племенных группировок родового периода и родового уклада правящих династий, и как результат объединений вокруг торговых центров. Как в древности каждая область имела свои природные, производственные, технические и социальные условия, свой культ, свои патрональные святыни, так это осталось и при христианстве. Как до грецизации происходило состязание во власти между державцами и жреческой кастой, причем бывало то раздвоение интересов, то соглашение, так это наблюдается и по введению христианства.

Эти два обстоятельства и увеличивают сложность взаимоотношений внутри клерикальной массы. Большинство ее слоев и прослоек, владевшее грамотой и оперировавшее книгой, проводило ею разные элементы идеологической гаммы, соответственно социальным неравенствам и несогласиям разных клерикальных группировок в разные отрезки времени. Отсюда происходили ереси и расколы, отсюда происходило деление книг на истинные, сокровенные, отреченные и ложные, индекс которых, организованный еще в Византии и дополненный в Болгарии, продолжал свое пополнение и в России. Борьба книгой в клерикальной среде, с вовлечением сюда и «светских» элементов, особенно остро сказывалась в столкновениях с «еретиками» в периоды сдвигов феодальных отношений, — например, в конце XIV в., в XV—XVI и в XVII—XVIII вв. Еретические книги жгли, как это, например, сделал Иван Грозный с альманахами. Но если, в свою очередь, еретики вешали кресты на ворон, щепили иконы, выплескивали в печку причастье, то очевидно они уничтожали и книги враждебного культа. По крайней мере в конце XV в. «еретики предлагали сжечь писания св. отцов за то, что помещенное в них пророчество о семи тысячах лет не сбылось»

(И. Хрущов. Исследование о сочинениях Иосифа Санина, СПб. 1868 г., стр. 158). Если и не жгли книги, то сторонились от них, не допускали в свою среду, как это делали раскольники по отношению к Никоновской печати. Есть впрочем известие о сожжении и потоплении свыше 200 книг соловецкими раскольниками в 1669 году (см. Чтения в Общ. истор. и древн. росс., 1846 г., кн. III, отд. I, стр. 36—38).

Примером массового преследования книги может служить сожжение москвичами новозаведенной типографии в шестом десятилетии XVI в. Вероятно, жгли ее не одни местные писцы и не за то только, что заведение печати угрожало их заработку. Здесь проявилась многосложность социальных отношений, завершавших предшествующие периоды феодализма ожесточенной борьбой. Здесь выступали общественные группы, находившиеся, вероятно, на разных ступенях зависимости, но одинаково прозревавшие усиление эксплуатации от усовершенствования орудия власти. Мы можем предположить, что книгопечатание, сосредоточенное в руках тогдашнего крепостнического правительства, вызывало боязнь наступления планомерно организованной цензуры вместо прежней, действовавшей самотеком. Не сомневаемся, что распространение новопечатной книги должно было вызвать массовый протест и в тех восточных колониях московитского капитала, для обрусения которых прежде всего и было заведено печатание «святых» книг.

Среди разнообразных типов внутреннего, да и внешнего оформления средневековой книги особенно показательной для констатации социальной борьбы является серия посланий и памфлетов, в виде «грамотиц» и «тетрадок». Уже прежние исследователи и композиторы истории литературы, например, Н. С. Тихонравов, особенно охотились за этой, в большинстве ненарядной книжностью (раскольничьи тетрадки). Эти книговидные произведения исполняли роль злободневной «прессы», отзываясь на самые большие вопросы социальных отношений и появляясь обильно именно в моменты обострения социальной борьбы. Некоторые из них адресовывались определенному лицу, но все без исключения назначались для всеобщего сведения, для целого круга читателей. Эти грамоты, грамотки, тетрадки существовали сначала каждая отдельно, но лишь немногие из них дошли до нас в подлиннике и в отдельном существовании, случайно сохранившись в архивном или сыскном учреждении средневековья (см. упоминание тетрадок Пересветова в описи царского архива, или нахождение раскольничьих писем и записей заговоров, песен и т. п. в сыскном приказе). Бытуя сначала отдельно, такие

грамоты, грамотки и тетрадки вносились затем в сборники, соединялись в них с другими произведениями, иногда по принципу сходства, или по авторству, кодифицировались (напр.: в летописи — поучение и письмо Мономаха, послание Василия о рае на земле и т. п.; в других сборниках разного состава — тетрадки Пересветова; в виде особых сборников — «Просветитель» Иосифа Волоцкого, переписка Грозного с Курбским, сочинения Максима Грека и т. п.). Внесение в сборники иногда сопровождалось тенденциозной переменой оформления статьи, так, напр., один из памфлетов Ермолая-Еразма по земельному вопросу, переделанный в виде проповеди, был внесен в авторитетный сборник проповедей — «Златоуст», в целях оглашения с церковного амвона (И. Е. Забелин. *Опыты изучения рус. древностей и истории*, ч. I, М., 1872, стр. 185—186; В. Ф. Ржига. *Литературная деятельность Ермолая-Еразма*, стр. 155, 193 и сл.).

Вообще, в феодально-крепостническую эпоху христианизм стал самым сильным орудием идеологического воздействия со стороны господствующего класса, тем более, что грамотность и книжность находились все время в компетенции церковников. В силу этого до нас дошли главным образом те книги, которые так или иначе, по содержанию или по форме, относились к церковной области. Даже «светская» литература дошла до нас преимущественно в оцерковленном стиле. Большую роль в этом отношении сыграли монастырские библиотеки, сохранившие в своем составе лишь соответственные книги. Роль монастырских книгохранилищ в отношении, так сказать, цензурного отсева книг, подмеченная Н. К. Никольским, несомненна («Ближайшие задачи др.-русск. книжности», *Пам. Др. Письм.*, № CXLVII, 1902). Возражения, приведенные А. И. Соболевским («Несколько мыслей об др.-русск. литературе», *ИОРЯС*, т. VIII, кн. 2, 1903 г.), не уменьшили вес тех фактических данных, которыми Н. К. Никольский обосновал свои наблюдения. В более развернутом виде соображения о социальной борьбе, как причине отсева памятников средневековой русской литературы, находятся в нашей статье: «Книга русского средневековья и ее энциклопедические виды» (*ДАН-В*, 1931, № 3).

Беглый поток примеров, заимствованных нами из средневекового материала, назначен иллюстрировать следующие основные положения:

Книга есть продукт и средство проведения классовой идеологии, поэтому все элементы книги (содержание, структура его и внешнее оформление) являются фактом идеологическим.

Классовое давление на книгу не исчерпывалось цензурой; сама цензура не исчерпывалась политическим, правительственным воздействием.

Книга не являлась только жертвой (в руках господствующего класса), она активно выступала, как орудие классовой борьбы.
